



«Среди всемирного молчанья...»

Молчание у Ф.И. Тютчева и Вяч. Иванова

© Е. П. ДЫХНОВА

В статье рассматривается важная роль мотива молчания, как он воплощается в творчестве Вяч. Иванова под влиянием философской поэзии Ф.И. Тютчева. Обнаруживается разность в толковании молчания в стихотворениях Иванова и в его теоретических статьях. Сближение категории молчания с православной традицией исихазма в философско-эстетических эссе поэта не находит прямого отражения в его лирике.

Ключевые слова: поэзия Ф.И. Тютчева, поэзия Вяч. Иванова, молчание, исихазм, символические образы, оксюморон.

Значимость поэзии Ф.И. Тютчева для Вяч. Иванова не подлежит сомнению [1]. Эта статья посвящена категории молчания, как она воплощена в стихотворениях Тютчева и Иванова. Ключом к пониманию обозначенной проблемы будут эссе самого Вячеслава Иванова. Стихотворение Тютчева «Silentium!» стало аргументом в философских размышлениях Иванова на разные темы. Оно воспринято им как своеобразный манифест, где наиболее ярко отразились провидческие способности поэта девятнадцатого столетия. Тема этого тютчевского стихотворения обозначена в его отстраняющем латинском заглавии. Пятикратно повторенный императив, призывающий к отказу от слова, подробно аргумен-

тирован в каждой строфе. Патетическая манера, отдельные архаические формы лексики, название стихотворения на латыни – все это настраивает на восприятие его содержания как непреложной истины. Это не просто призыв к молчанию, а *повеление* молчать. Композиционно каждая строфа разбита на две части: первая часть – это само повеление или рассуждение, вторая – развернутый образ-сопоставление.

В первом шестистишии «чувства и мечты» человека сравниваются с безмолвно, как будто в первый день творенья, всходящими ночными светилами: «...Встают и заходят оне / Безмолвно, как звезды в ночи, – / Любуйся ими и молчи».

Глубина внутреннего мира оказывается соотносимой с бездонной сферой ночных небес. Субъект стихотворения призывает созерцать ритмическое движение эмоциональной жизни, подобное движению горних сфер. Речь идет именно о душевной сфере – не о духовном, на что указывает эпитет *душевная* («в душевной глубине»). «Как сердцу высказать себя?...» – этот риторический вопрос и иные из второго шестистишия явно подразумевают отрицательные ответы, и смысловой акцент ставится на затрудненности процесса общения-понимания: субъект-наставник стихотворения констатирует невозможность «сердечного» взаимопонимания людей. В этой строфе вновь речь идет о душевном – недаром высказывает себя *сердце*, как средоточие души, но происходит и подъем на иной уровень, уровень мысли, духа в апории – непреодолимом затруднении: «Мысль изреченная есть ложь» – этот стих становится кульминацией произведения, усиливая безысходность «душевных» вопрошаний. И что важно подчеркнуть, он не является ответом на вопросы первых стихов строфы: по своей глубине и сложности он в значительной степени их превосходит.

В последних двух стихах – опять же «природном» подтверждении вышестоящей тезы – напряжение идет на спад: «Взрывая, возмутишь ключи, / Питайся ими – и молчи...». Образ бьющих ключей символически восполняет высказанное: истины, которыми человек живет, будто живая вода, текут из потаенных внутренних источников, скрытых в глубинах человеческого существа. При попытке передать тонкие смыслы в слове неизбежно возникает их искажение, замутнение – таков аргумент к знаменитому стиху Тютчева, ставшему афоризмом. В этом шестистишии отчетливо проводится черта между природным, естественным (*ключи*) и механическим, искусственным, насильственным (*взрывая*): если прислушиваться к звучанию внутренних источников, не пытаясь силой воздействовать на них, облекать их в грубую словесную оболочку, анализировать, «взрывать», они останутся чистыми и незамутненными.

Третья строфа также несет в себе и предписание («Лишь жить в самом себе умей...»), и подтверждающий природный образ: внутреннему, «таинственно-волшебным думам» («дума» поэта в своей целостности

соединяет в себе духовное и душевное) противостоит внешний физический мир с его шумами, суетой, косностью, губительным дневным светом: «Их оглушит наружный шум, / Дневные разгонят лучи...». Тонкому миру души и духа с его шумом ключей и светом звезд враждебно «дневное», но в ночном лике естественный и живой, идеальный мир природы как творения оказывается, напротив, родственным ему. Итак, активное созерцание – это единственный способ сохранить уязвимый внутренний мир – таков основной пафос стихотворения Тютчева.

Категория молчания присутствует у Тютчева не только в стихотворении «Silentium!». Под другим углом зрения дается она в его натурфилософской лирике и в произведениях, посвященных двоемирию: платоническому мифу о разобщенности и противопоставленности горного и дольного миров. Этот ракурс мировосприятия является общим для Тютчева и Вяч. Иванова. Тютчев стремится поэтически воплотить сущность в ночном мире. В момент, когда спадают покровы дня, когда все *молчит*, появляются другие звуки, они не мешаются в привычные оппозиции молчание-говорение. В стихотворении «Видение» они как бы говорят через молчание, через тишину: «Есть некий час, в ночи, *всемирного молчанья*, / И в оный час явлений и чудес / Живая колесница мирозданья / *Открыто* катится в святилище небес» [Курсив здесь и далее наш. – Е.Д.]. Или в стихотворении «Бессонница»:

...Томительная ночи повесть!
Язык для всех равно чужой
И внятный каждому, как совесть!
 Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
 Глухие времени стенанья,
 Пророчески-прощальный *глас?*

Молчание словно открывает ранее невиданное пространство, размывает границы видимого и позволяет расслышать *гул*. Как будто безязыкие стихии тогда начинают говорить, петь, гудеть, обретают *язык*, который есть «логосность, смыслоносность книги бытия – природы» [2]. Применительно же к миру дневному поэт использует глагол «шуметь», который становится атрибутом суетного. Иногда космическое двоемирие, благодаря которому Иванов заговорил о поэтическом методе Тютчева как о двойном зрении, выступает в комплексе со звуковыми мотивами. В стихотворении «Как сладко дремлет сад темно-зеленый...» Тютчев пишет: «Над спящим градом, как в вершинах леса, / *Проснулся чудный еженощный гул...*».

Вяч. Иванов воспринимает творчество Тютчева как единый, полноценный миф, складывающийся из всех его стихотворений. Этому благоприятствует та особенность, которую выразил Л.В. Пумпянский: «Нет

у Тютчева <...> ни одного значащего стиха, который не был бы окружен родственной атмосферой других высказываний и стихов...» [3]. Различные коннотации тютчевской категории молчания, мифогенной для Иванова, будут встречаться в его стихотворениях в сочетании с другими характерными для Тютчева мотивами, образами, мифологемами. На разных этапах своей жизни Иванов будет допускать разные их трактовки; как это происходит, можно проследить в его философско-эстетических работах. В целом концепция творчества Тютчева у Иванова не претерпевает изменений с течением лет. Однако ряд семантических вариаций применительно к категории молчания разнообразен и варьируется от статьи к статье.

Иванов говорит о призыве Тютчева к молчанию в ракурсе темы мистической роли поэта и поэзии, аргументируя собственные мысли об устройстве стиха отсылками к произведению Тютчева. Например, в статье «Заветы символизма» Иванов утверждает, что Тютчев одним из первых осознает правду «о наставшем несоответствии между духовным ростом личности и внешними средствами общения» [4]. В этой же статье предлагается взгляд на творчество Тютчева с позиций всецело занимавшего Иванова в тот период дионисийского мифа: «Дионис могущественнее в душе Тютчева, чем Аполлон <...> самое ценное мгновение в переживании и самое вещное в творчестве есть погружение в тот созерцательный экстаз, когда “нет преграды” между нами и “обнаженною бездной”, открывающейся – в Молчании» [Т. II. С. 591]. Иванов соединяет категорию молчания разных стихотворений: молчание как исток откровения – у Тютчева такой ее вариант появляется не в стихотворении «Silentium!», а в натурфилософской лирике.

В эссе «Мысли о поэзии», позднее, написанном в 1938 году, поэт-символист тоже вспоминает «Молчание» в попытке осмыслить мистическую роль поэта и поэзии. Для Иванова Молчание – это особое условие откровения. В этой статье Иванов сближает «Безмолвие» Тютчева и православную традицию исихазма, что, конечно, является пример глубокого переосмысления концепции отказа от слова поэта девятнадцатого столетия: «Безмолвие <...> – говорит Иванов, – молчаливость, налагаемое не сомнением в слове, а трезвением слова, «хранением уст» <...> – это начало «восхождения на <...> высоты мистики, которое закономерно влечет и закономерно ужасает поэта...» [Т. III. С. 662]. Говоря о поэте и поэтическом творчестве, Иванов трактует уединенность в духовном мире в религиозном ключе. Это почти монашеский подвиг ухода от речи, служение Богу в погруженности в невыразимое. Однако тем самым Иванов делает шаг в сторону от прямого прочтения стихотворения «Silentium!», акцентируя и усиливая отдаленное сходство, быть может, и имеющееся между традицией молчаливости и предложенным Тютчевым уходом от слова. Но все-таки в стихотворении «Silentium!» вряд ли можно об-

наружить без натяжки те религиозно-философские глубины, которые усматривает в нем Иванов, скорее следуя интенции выражения личного опыта, нежели проникновения в собственную мысль Тютчева.

Интерес Иванова к традиции молчальничества бесспорен, однако подробно не изучался. Об увлечении поэта этой темой упоминает Д.Н. Мицкевич в своей статье «“Реалиоризм” Вяч. Иванова»: «...православный идеал “ухода из мира” внутрь себя, ведущий обратно к преобразенному миру, восходящий из “подземных ключей” византийской церковности – исихазма (священнобезмолвия) вдохновлял его мысли» [5]. Феномен молчальничества подразумевает не только воздержание от речи, но и стремление к *внутренней* тишине – ради обретения Бога. С.С. Хоружий так говорит об этом религиозном явлении: «само ядро и главная специфика исихазма: сведение ума в сердце и непрестанная молитва» [6. С. 104].

Очевидно, что Иванов интерпретирует стихотворение «Silentium!» мифотворчески, он обогащает свой авторский миф, встраивая в него то, что необходимо в определенный момент его философских исканий, в частности, акцентирует столь значимые для него исихастские коннотации молчания. Это же относится к стихотворениям Иванова. В них редко обнаруживаются прямые цитаты из Тютчева, скорее это намеки, перефразировки. Как это точно сформулировал С.С. Аверинцев, говоря в целом о характере ивановских отсылок к Тютчеву: «перед нами (...) внутреннее сродство “своего”, собственно “вячеслав-ивановского”, нового и оригинального – с дисциплинирующей тютчевской традицией» [7]. Так, в стихотворении «Вечеря любви», написанном в 1915 году и вошедшем в сборник «Свет вечерний», присутствует следующий образ: «..Безмолвная речь / Об Агнце завета...» [Т. II. С. 554]. Здесь отражено характерное для Иванова понимание отказа от слова. Символ безмолвной речи, в сущности будучи оксюмороном, для Иванова таковым не является. Это произведение посвящено трапезе первых христиан. Безмолвная речь – это молитва в молчании, на духовном уровне она соединяет участников трапезы.

Один из самых ярких примеров понимания молчания как категории сакрального – стихотворение 1927 года «Палинодия»: «...я слышал с неба зов: / “Покинь, служитель, храм украшенный бесов” / И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды / Молчанья дикий мед и жесткие акриды» [Т. III. С. 553]. Молчание здесь трактуется в контексте христианства, в связи с преданием об Иоанне Крестителе и становится символом духовного подвига, аскезы; герой стихотворения слышит голос Всевышнего, покидает языческий мир мистериальных ритуалов и, уподобляясь Крестителю, в воздержании от слова приближается к реализации собственной духовной миссии. Отказ от речи здесь обозначен как «молчание», не как «молчальничество». Мед с горы Гиметт, появляющийся в первом

стихе («И твой гиметский мед ужель меня пресытил?»), стоит в ряду символов языческого мира. Он соотносится с образом-символом дикого меда, стоящим в заключительном стихе, создавая надежную опору композиции и антитетически помогая раскрыться смыслу стихотворения. *Дикий мед молчанья* противопоставляется *гиметскому меду*, как ложное изобилие и излишества язычества – спасительной истине христианской аскезы.

Категория молчания появляется и в стихотворении «Notturmo». Это поэтический этюд, ночная зарисовка, ноктюрн, в котором человеческое сознание ощущает свою соприродность звездному миру. Звуки мира отзвучали («Пес провыл, и поезд прогремел...») и угасли («Ветр вздохнул, и воздух онемел...»), и в стихии ночи

Лишь вода текучая журчит.
Тайна звездоустая молчит.

В черных складках ночи сладко мне
Невидимкой реять в тишине,

Не своей тоскою тосковать,
Трепет сердца с дрожью звезд сливать» [Там же. С. 508].

Третье двустишие заключает в себе основной символ произведения: «Тайна звездоустая молчит». Метафорический образ говорит о том, что звездная стихия способна к речи, однако безмолвствует, оберегая великие смыслы бытия. Казалось бы, Иванов, отсылая нас к творчеству Тютчева, не созвучен с его космологическим мифом, ведь в ночном мире Тютчева не молчание небесные сферы, но гул «еженощный». Однако образ безмолвного движения ночных сфер у Тютчева появляется в «Silentium!»: «Пуškai в душевной глубине / Встают и заходят оне, / Безмолвно, как звезды в ночи...». Иванов сплетает воедино две мифологемы творчества Тютчева в антитетическое единство молчания – речи.

В третьем и четвертом разделах сборника «Свет вечерний» Иванов неоднократно употребляет слова *молчальник*, *молчальница*, и в некоторых случаях они даются в контексте сакрального, но и здесь это – не исихазм. Во всех случаях речь не идет о внутреннем акте обращения к Богу, тогда как, согласно С.С. Хоружему, «стержнем традиции [исихазма] становится искусство непрерывного творения молитвы (...), организующее духовно-душевную жизнь подвижника в единый Духовный Процесс» [6. С. 204]. В стихотворении «Каменный дуб» присутствует образ молчальника: «Хмурый молчальник твержу втихомолку стихами / Хочет и каменный дуб майской листвой прозвенеть...» [Т. III. С. 501], – Иванов реализует в этом случае одно из значений слова «молчальник», которое, в согласии с текстами словарных статей, следующее: «молча-

ливый человек, а также человек, предпочитающий из осторожности не высказывать своего мнения, отмалчиваться» [8].

Иванов и здесь, и в иных случаях играет на гранях этих двух значений слова: молчальник – монах и молчалик – молчун. Восприятие словоформы не может происходить без ассоциативного учета обоих смыслов, и даже тогда, когда перед нами нет сакрального значения, оно невольно возникает в сознании. Очевидно, этот мифотворческий процесс осознается поэтом: учитываются две разные, и не близкие, трактовки слова и объединяются в одно целое. Это происходит и в стихотворении «Голубь и чаша», написанном в период с 1918 по 1920 годы. Иванов вновь создает произведение, ориентируясь на мотивно-образный ряд Тютчева:

Ночь златокрылая! Тебе вослед пытается
 Мой дух упругость крыл, но все же прилетает
 На край своей души, как голубь к чаше вод,
 И видит тот же в ней, далече, небосвод
 Переливается Голкондою жемчужин...
 И не докльонет он до дна – и безоружен –
 Тайноязычное следит в звездах и в ней,
 Двоенье знамений и переклик огней,
 Как бы взаимный лад и некий сговор женский
 Молчальницы-души с Молчальницей-вселенской [Т. III. С. 537].

Здесь софийные образы тесно сплетаются с тютчевским корпусом мотивов двоemiрия и безмолвия. Иванов извлекает из триады тварной человеческой природы дух-душа-плоть две составляющие и символически изображает, как дух созерцает душевное в себе и вселенское в их соответствиях. Душа в стихотворении – молчальница, она выбирает путь ухода от речи в пользу духовного молчания как залога откровения о своем соответствии с миром. Быть может, поэт сближает здесь молчание с традицией исихазма, «тайноязычное» молчание ради познания глубоких истин, но и оно ослаблено в стихе: «Как бы взаимный лад и некий сговор женский...» [Там же].

Этот мистический диалог не вполне соотносится с традицией священнобезмолвия, поскольку хоть это и общение на духовном уровне, это все же не молитва. Кроме того, несмотря на трепетное отношение Иванова к гностико-соловьевскому мифу о Святой Софии, он позволяет себе легкую иронию в конструировании символических образов.

Очевидно, что поэт-символист тяготеет к расширению смысла произведения Тютчева: об этом свидетельствуют тексты статей Иванова. Так в статье «Мысли о поэзии» молчание, которое становится предметом анализа Тютчева в его стихотворении, понято Ивановым как молчаличество, то есть христианский монашеский подвиг ухода от речи. В стихах, однако, отражения этой трактовки не обнаруживается в пол-

ной мере. Противоречит ли Иванов своим собственным мыслям? Нет. Ведь поэзия и философско-эстетическая проза Иванова не соотносятся между собой – и не должны быть поняты – как теория и практика, это скорее две соприкасающиеся между собой линии, которые выражаются на двух разных языках. Те мысли, которые поэт развивает в своих философско-эстетических работах, отражают его миропонимание, но не становятся «руководством к действию» в поэтическом воплощении. Поэтому развивая мысль о категории молчания в лирике Тютчева в ракурсе христианской традиции священнобезмолвия, Иванов не стремится иллюстрировать это своими стихами. Категория молчания возникает в его произведениях тогда, когда поднимается вопрос о невозможности воплощения высочайших, тонких смыслов бытия в оскудевшей человеческой речи, то есть примерно тогда же, когда о ней в своей философской лирике заговаривает Тютчев.

Литература

1. Этот вопрос поднимался в работах С.С. Аверинцева, А.Г. Грек, К.Г. Исупова, Н.В. Котрелева, Н.К. Гудзия, Л.В. Пумпянского.
2. *Кошемчук Т.А.* Ф.И. Тютчев: аспекты христианского мирозерцания // *Кошемчук Т.А.* Русская поэзия в контексте православной культуры. СПб., 2006. С. 211.
3. *Пумпянский Л.В.* Поэзия Ф.И. Тютчева // *Пумпянский Л.В.* Урания. Тютчевский альманах. 1803–1928. Л., 1928. С. 16.
4. *Иванов В.И.* Собр. соч. В 4 т. Брюссель, 1971–1989. Т. II. С. 589. Далее указ. только том и стр.
5. *Мицкевич Д.Н.* «Реалиоризм» Вяч. Иванова // *Мицкевич Д.Н.* Христианство и русская литература. СПб., 2010. Сб. 6. С. 297.
6. *Хоружий С.С.* К феноменологии аскезы. М., 1998. С. 104.
7. *Аверинцев С.С.* Русская культура во всевропейском контексте. Созвучие и контрасты // *Аверинцев С.С.* Связь времен. Киев, 2005. С. 330.
8. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 230.

*ИРЛИ РАН,
Санкт-Петербург*